

Александр БАЛТИН

г. Москва



# КАК ТАМ НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ, ПАПА?

## КАК ТАМ НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ, ПАПА?

**И**звини, отец, я не помню, с каких лет помню тебя – прости за тавтологию: фразы рождаются, как миры, чтобы жить своей жизнью, и иное причудливое словесное вкрапление может сулить своеобразие, как погрешность – прелесть.

Мне кажется, вот оно – первое воспоминание: ловлю за хвостик: старая квартира в огромном доме, наполненном коммуналками тесно, как совами, и мы играем с тобою, вернее – ты со мной, ты улыбаешься, а я прячусь за ножкой стола – большого, со скатертью, белеющей снежно, и высказываю, и смеюсь...

И ты смеёшься, и я пробегаю между твоих ног, а ты ловишь меня, и палец у тебя забинтован...

Первая улыбка мира была явлена твоею, папа.

Сколько мне? Года три...

А вот уже... шесть, что ли?

Ты учишь меня читать, и тонкая книжица – «Подземные жители» – шуршит в моих пальцах листочками, но буквы никак не складываются в слова, и мне кажется, ты сердисься, папа.

Твоя ладонь на моём плече... Я долго почти не читал – до десяти, чтобы потом утонуть в чтении, на десятилетие заменившем внешний мир...

Сколько мы гуляли с тобой! Помнишь?

Вот Екатерининский парк – как он тогда назывался? Замечательный, отливающий золотистой зеленью пруд с утками, и кормили мы их, кроша батон или ситник, а потом брали лодку напрокат, и ты грёб...

Мешаются воспоминания, теснятся, заливают, захлёстывают сознание...

Мне девятнадцать – и в ночь тебя увозят с сердечным приступом, и я не знаю ещё, что вижу тебя в последний раз.

Утром следующего дня я был в больнице, папа, но в реанимацию не пускают, и я, выйдя из здания, массивно серевшего огромным корпусом, плакал на скамейке соседнего парка под вороний грай – предчувствуя, вероятно.

Позвонили днём – что ты умер.

Суета была – не до горя, мол, – мама тогда отдыхала в санатории. Помнишь?

Я вызывал похоронного агента, обзванивал знакомых, родных, вызванивал маму в Латвии – советской тогда...

Наплывает из опалового тумана былого – книги, марки, монеты...

Как мы ходили в клуб нумизматов, где на столах мерцало старинное серебро, а люди были хитры и

самоуверенны, а ты – физик, путешественник, певец: чего ты только не мог! – в чём-то наивен был... да... едва ли нынешнее время подошло бы тебе, может, поэтому так рано и умер – в 52?

Морг, поминальный зал.

Меня потрясло – не дышишь, хотя знал, что это тело твоё, не ты...

Прогулки по Москве ветвились, тянулись – мы, наверно, проходили в общей сложности несколько лет; мы изучали московские переулки, как науку, ты брал с собой путеводители, старые книги.

А буки, очарование тех старых московских букинистических, где ветхие книги под синеватым стеклом прилавка казались причудливыми бабочками, несущими собою миры?

Встречались со спекулянтами – ты всегда хорошо зарабатывал, мог позволить дорогие покупки.

Когда я заболел историей кино, ты перезнакомился со всеми тогдашними подпольными торговцами билетами в Иллюзион и переплачивал столько, что дух захватывало!

Один из этих торговцев, кстати, звонил через месяц после твоей смерти – так странно было.

Мне сейчас чуть меньше, чем тебе, когда ты умер.

Видишь ли ты меня?

Вечная иллюзия или непостижимая правда?

Мне мнилось часто, что рядом ты, смотришь на меня, продолжаем говорить, раз так мучительно недоговорили за жизнь, за короткие её годы.

...а было – шёл я в снегопад – яблочный, роскошный, шикарно пахнущий – шёл переулками, и собор, встававший на фоне чернеющего неба, был мистичен и таинствен, и почудилось мне, что обогнал ты меня – да, да, это ты, и твоя кожаная куртка, что мама привезла из Польши, поскрипывает, и я спешу за тобой, и ты оборачиваешься, улыбаешься, говоришь:

– Сынок...

Нет, чужой человек обернулся, смущённый, видимо, моим ускорившимся шагом – и я просто обогнал его, думая, как мучительно мне тебя не хватает, отец...

Не хватало все годы...

Где твоя планета, папа? Какие там парки?

Вдруг там слышны мои стихи, а?

У тебя внучок родился – три года ему, сегодня отвели в сад – а я, помнишь, рыдал и бился в первый день, хотел сбежать из сада...

Малышок, который никогда не узнает тебя, тоже не хотел идти, но не рыдал, нет.

Он похож на маленького ангела – светловолосый и голубоглазый... И я иногда, глядя ему в глаза, точно смотрю в себя...

...машины, вдвинутые в арку роскошного леса;

вы, взрослые, жарите шашлыки, открываете бутылки вина.

Пруд чернеет неподалёку, и в нём видел я тритона – нежного, золотистого, точно озарившего на миг тёмную воду, видел первый и последний раз в жизни.

А вот вы, выпив, гоняете мяч с дядей Валею (его убьют в 1994 году) и дядей Витей (он жив, он похоронил Игорька, сына, который разбился в автокатастрофе 23 лет от роду), и виртуозность, с которой ты обводишь их, отбирая у них мяч, лёгкость твоих движений – хотя ты полный уже – поражает обоих: не верили, что много и страстно увлекался спортом, что имел разряды сразу по нескольким видам...

Мимолётное воспоминание, краткая ласка пепельных осенних сумерек – ибо мы гуляем с малышкой, твоим внуком, я везу его на детском велосипеде, и скоро он увидит пёструю площадку, и выскочит, побежит к ребятам...

А это... это что? Тополя золотисто склоняются надо мной, лежащим в коляске, которую везёшь ты, папа, читая одновременно газету – но этого нельзя помнить, приснилось, наверно.

Иногда мне кажется, что приснилось, будто ты умер, что не мог ты умереть, так, шутка, и вот же – зайдёшь, вернувшись с работы, и я выйду тебя встречать, и спрошу:

– Как там на твоей планете, папа?

## БЕСКОНЕЧНОСТЬ ЛАБИРИНТА

**В** сеть упоительных московских переулков поиманные ядрышки человеческих жизней...

О, ничего страшного! Ядрышки подвижны и снабжены стучками воль, они активны и грустны, делают много или ничего – так или иначе живут как могут...

Первый день осени означен для мальчишки троллейбусной поездкой с родителями, и целлофан делает дачные астры более городскими, лишёнными природного ореола; путь дальше – в низину переулка, откуда поворот ведёт между каменными, весьма красивыми, впрочем, нагромождениями домов, а первый класс представляется мерцающей массой неизвестности, однако не страшнейшей вовсе, нет-нет.

– Да, сынок, вот ты и школьник, – говорит отец.

Форма жёсткая, и непривычна она пока, непривычна; а у жёлтого здания школы, уютно расположившегося в каменной городской низине, точно в нише, пестреет толпа...

Речь не помнится, а вот десятиклассница, взявшая за руку, и сейчас вызывает интерес – как любовью представитель человеческой плазмы: что с ней случилось? Как выросла? Родила ли детей?

Советский мир тяжёл и массивен, как динозавр, незыблем и огромен; и песни звучат вновь – хотя и ушла «Советская Атлантида» под воду, хотя и оделась ностальгическим радужным светом – звучат вновь советские песни, когда четверть века спустя наступает очередное первое сентября; и мальчишка, смотревший сквозь целлофан на астры в троллейбусе, проходит мимо школы – совсем не той, в которой учился – седобородый пожилой мальчишка, отведя своего трёхлетнего сынка в детский сад, – минует тяжёлое, серо-мрачное здание с портретами классиков, видит совсем других детей – не похожих на тех, советских, – слышит старые песни и думает – тягуче, мрачно – о многих годах своей жизни, спрессованных разноцветными слоями, думает о ядрышках человеческих, перетекающих из одного переулочка в другой – и всё почему-то кажется игрушечным, ненастоящим.

Где он, вход в настоящую действительность? Где они – таинственные врата, сулящие большую яркость, чем привычный физический свет?

– Свет – это просто длина волны, – говорит вслух пожилой седобородый человек, и случайный прохожий вдруг оборачивается:

– Что вы сказали?

– Ничего, – краснеет человек, проходя, ускоряя шаги.

Ничего.

Только этот физический свет и доступен, и жизнь, текущая внутри него, слишком завязана на деньгах, еде, поисках развлечений, разнообразии ощущений и однообразии дней.

Должны быть формы иного света, определившего массивы физического существования, размышляет всё тот же мальчишка, седобородый пожилой человек, задумчивый мечтатель...

Коридор квартиры играет янтарём паркета, а громоздким библиотечным подобием – ибо стеллажи, уходя под потолок, тянутся вдоль стен – призывает уйти от реальности в художественные миры: переливающиеся, играющие красками: уйти, как было некогда в детстве.

Но это невозможно уже: иго реальности слишком значительно, чрезмерно давяще...

Представляет: старый, мудрый Оккам, медленно отшлифовавший свою бритву, выходит, вооружённый ею, в пространство жизни, покинув чудесную, как рай, готическую библиотеку, и видит несущийся поток машин... Вот они – ложные сущности, думает старик, вот оно – умножение сущностей без надобности...

Или просто пугается – как пугается седобородый персонаж, зайдя в супермаркет: там всё фальшиво, хотя и пригодно к употреблению.

В коридоре, за бра, отражённым высоким зеркалом, заткнут экзотический музыкальный инструмент, некогда привезённый отцом из Египта: было это в семидесятых, и великая страна ещё не была омрачена бесконечным постсоветским туризмом.

...маленькие, в пластмассовых рамочках кадрики вставлял в диапроектор, и возникали они – пирамиды, желтые и беловатые колоссальные изваянья, возникали, рождая в сознание такое, что реальность московской жизни, бледнея от стыда за себя, удалялась...

На кухне – всё ли всегда сводимо к быту, пока не явится смерть? – чайник ставится на огонь и банка кофе достаётся из шкафчика.

Масса деталей, подробностей.

Не есть ли художественная литература просто умножение сущностей – без особой на то надобности? И хочется ещё размышлять про искру Божью – ибо если бы благодаря ей возникали стихи, рассказы, романы, то и судьба большинства подлинных писателей – и уж во всяком случае, их текстов – должна бы быть благополучней, чем была.

Но – тяготы, бесконечные мытарства множества творцов (с маленькой, с маленькой буквы, конечно) – заставляют думать о причудливом устройстве нейронной сети определённых людей, сочиняющих и сочиняющих, вновь и вновь, упорно – как строили египетские пирамиды.

Чайник свистит – так свистел, бывало, в ненужный свисток от старого чайника, разыгравшись, мальчишка, который резвится сейчас в детском саду.

Кофе коричнев, и струя молока, низвергаемая в него из пакета, опалово мерцающая, рождает новую субстанцию.

Пить кофе, стоя у окна, глядеть на двор – изощренный, изученный, как собственное прошлое; здесь у гаражей гулял с собаками своими, смерть которых пластами тяжести ложилась в мозг, хотя пласты становились чуть тоньше с годами.

В многообразии бесконечных сил, действующих в мире, всё равно что делать, ибо капельки любых действий растворяются в огромном океане всеобщности, ничем не меняя перспектив, чей корень никогда не известен.

В многообразии мирового коацервата текстов не всё равно добавлять какой? Беспорядочное движение литературных аминокислот не рождает молекулы белка новой жизни, и реальность остаётся прежней, никак не меняясь от книг.

Толстое их могущество!

Дебри мозга, где мхи ассоциаций покрывают камни ощущений собственного возраста... Да брось! Неспособность разобраться в нейрофизиологии вовсе не повод громоздить словеса.

Кофе ли действует?

Сознание ли обнажено до предельной нервной оголённости?

Я и ты путаются, умножаются на не-я, и тень Фихте возникает на стене, отброшенная опытом чтения, возникает мрачная и одновременно насмешливая, чтобы тут же провалиться в проран вполне индивидуальной жизненной гофманианы, закружившей скучного седобородого человека, путающего я и ты.

Ты погиб на Тридцатилетней войне, в сражении, когда отряд, крошечной каплей которого ты бы попал в засаду и меч здорового шведа, подданного Густава Второго Адольфа, расскёл твой череп, пройдя слои янтарно-золотистого, серо-прожилочного мозга.

Реинкарнация... Недоказуемо и неподтверждаемо, но как переливается в ощущениях! Длинные одежды – чёрные, конечно – рядового иезуита, идущего коридорами консистории; а вот он же – разочаровавшийся в огне веры, не справившийся с чем-то важным, истерзанный сам собою – суёт голову в петлю... Не за его ли поступок расплачиваюсь теперь, стягивая и сводя свои мысли и ощущения в тугую точку себя?

Телесная оболочка тяготит под пятьдесят, но желание взлететь, вырваться из неё обманно, ибо камни быта трудно дробятся, а большинством – не дробятся вообще...

Каменные лица часто встречаешь в церкви: отяжелевшие от забот, с глазами, цветом напоминающими отработанный антифриз – обладатели их всё вымалывают что-то, выпрашивают...

Пестрота икон кажется потусторонней, хотя и связана с реальностью нашей – прочно, конкретно: переведите инобытие в наши краски – что получится?

Сколько времени?

Что делает сынок?

Ведь на полный день в сад пошёл во второй раз всего лишь.

В первый день минут десять стоял у двери, не хотел идти, потом ещё десяток минут неопределённо медлил в раздевалке и – побежал к ребятам, помчался... Он социабельным будет, сынок, не то что ты – социофоб.

Ты или я – что предпочтительней?

Но времени мало накапало в чашу дня, рано идти за мальчишкой.

Летними долго-золотистыми месяцами много гуляли по ВДНХ, возил его на детском велосипеде, который надо толкать, и малыш вылезал у фонтанов, забирался на бортики, возил по ним машинки; потом погружался, окунался, растворялся в упоительных мирах детских площадок и любил спускаться к прудам, где старая лестница

уходила в чёрную воду, а подводный мох зеленел и ленивые кувшинки висели на поверхности; а утки кричали, проплывая...

Потом ехали с сынком на «камни», как я говорил – некогда был водоёмчик, но осталось лишь это слоистое, изломистое нагромождение, и малыш забирался на горы, отмахиваясь от моих попыток страховать...

Заурядно находишь себя сидящим у монитора, сочиняющим очередной текст – вязкий и витой, лёгкий и тяжёлый, медлительный, неповоротливый, быстрый, летящий...

Ворона вычерчивает зигзаг за окном – взгляд отвлёкся; птица садится на ветку, чтобы граять или оглядеть пространство. Наверно, известно, как она его видит, но ты не знаешь этого, не знаешь, где прочитать об этом. Мир её другой – и вместе: единый, всеобщий, хотя дело всеобщности осознаётся не многими.

Лестницы ведут наверх, сияя мрамором, и тащат вниз, чернея провалом.

Ворона тоже черна, она взлетает, покидая мой взгляд, отдавая его на поживу очередного текста, перескочившего на новую страницу... Слова – странники страниц – перемещаются во фразах, и путешествие их бесконечно – хотя ничего бесконечного не существует, кроме, разумеется, самой бесконечности, которую не представить никак.

Как и рифмующуюся с ней вечность – о чём вы, господа поэты, если о литературе Атлантиды мы не имеем никакого понятия – равно как о самом факте её существования.

Убеждённым не надо ничего доказывать.

А на сомневающихся – стоит ли тратить силы?

Текст длится, как день, он может быть прерван этой точкой, а может – другой.

Точка, поставленная уверенно, вдруг собирается в сумму мелких круговых волн, вырастая до жажды продолжать текст, как жизнь – так, в школе, отвлёкшись от материала, излагаемого тем или иным учителем, видел в разводах школьной парты нутро троянского коня и водил пальцем по древесному узору столешницы, пока тишина, повисающая в классе, не оказывалась мучительной: снова тебя вызвали, а ты ничего не знаешь.

Бесконечный лабиринт подразумевает бесконечный тупик, ибо золото смысла теряется в бесконечности.

Одиноко ли в лабиринте?

Изведавший много тупиков сомневается в собственной реальности, однако тело властно предъявляет претензии на явь, и она, разлитая повсюду, принимает эти претензии.

Длительность текста не соответствует протяжён-

ности мысли – как длина волны способна объяснить только зримый свет.

Рыцарь, убивающий другого, будет убит третьим – идёт война.

Снова часы, их бледное личико в чёрных морщинах стрелок, снова рано – идти за малышом в сад.

Время обеда, и густота рассольника способна отвлечь от чего бы то ни было на несколько минут, сводя к себе всю реальность.

Снова точка, за которой последуют другие...

Гречневая каша с куриной печёной в соусе, и специи усложняют вкус, как всякий новый день усложняет жизнь, удлиняя её лабиринт.

Белизна бумажных листов монитора стала привычной белизны чистых страниц – и сиявших, и пугавших когда-то.

Часы дробят время, как мысли и строчки косные камни быта; терпи, так было всегда...

Тобой ли взращены ассоциативные кусты сознания или время возделало их, используя книжный опыт, мешая его с опытом самой жизни, где одно напыляет на другое и переходит в третье?

Не знаешь, разгоняя новую фразу, входя в новую фазу бытия.

Сентябрь сияет за окнами, зияя летнею бездной, и только полосы жёсткой ржавчины в тополях свидетельствуют в пользу осени.

...однажды приятель отца, с которым тогда общались и который говорил, что он один из первых в стране (Советской) начал заниматься парапсихологией, спросил:

– Ты доверяешь Богу?

Хмыкнул, пожав плечами:

– Не знаю, я с ним чай не пил.

Как можно огромно-непредставимую реальность, обозначаемую этим словом, загнать в рамки столь бытово-примитивного вопроса? Не понял он – мальчишка, пожилой седобородый человек, рыцарь, убитый на Тридцатилетней войне...

Вот он в пустотелом внутреннем мире калужского храма, где принял крещение; он смотрит ввысь, стараясь ощутить нечто: вибрации, колебания – в мозгу, в душе.

Вот в католическом соборе в Москве, на Малой Грузинской, громадою своею напоминающем крепость средневековья; он сидит на скамье и на колене покрывает четвертушку бумаги рифмованными письменами; потом стоит у вертепа, смотрит в пёстро-сказочный, детски наивный, густой в подробностях мир.

...и снова глядишь на часы в поисках точки, и снова нет её – или сжимается, пружиня, ускользая.

И снова проходишь московским переулком, ведомый родителями в первый класс.

И снова ведёшь малыша в детский сад.

Картины наслаиваются друг на друга, медленно созидавая жизнь, из которой уходят люди, оставляя прорехи в пространстве, уходят, чтобы продолжили другие – жить; чтобы никогда не было окончательной точки и ветвился бесконечный лабиринт, пусть и не в силах сознание представить ничего бесконечного.

## ПОТЕШНАЯ ХРОНИКА

Из ниоткуда – из разливов лугов и лесополос – материализуется, точно мираж, вдруг оказавшийся реальностью – городок: невысокого облика, должно быть, скромного нрава, без особых претензий на историческую хронику, да и история, казалось бы, должна обойти его...

Дома всё одноэтажные, и улицы тянутся меж них скучные, пыльноватые, но жителям, видать, по нраву подобное житьё...

Приезжающий ночью выгружается из светящегося жёлтым огнём автобуса, чтобы оказаться на антрацитом отливающей площади с непременно памятником и долго думать, в какую сторону пойти, чтобы найти единственную в городе гостиницу, в номере которой попытка открыть окно обязательно закончится падением рамы...

Городок расширяется дальше: после улиц с низенькими частными домами – редко среди них мелькает более высокий туз – следуют кирпичные коробки, и четыре, пять этажей воспринимаются «небоскрёбным» ростом после низких партикулярных владений...

Будет и ещё площадь, обрамлённая особнячками – из девятнадцатого века, и даже пораньше; тут же и горуправа, и почтамт, и здание суда... А меж двумя магазинами помещается, мерцая гладью, синеватый пруд.

И туго, с неохотой верится в длинную историю одного городка, в её тернии и богатства.

Сжатое до сегодняшнего дня время не позволяет представить монголов – вот мчатся они в захлёсте вихреобразном, налетают на посад, и стрелы свищут; городок был строптив, а наказание за стропливость – кровавым...

...ветшают слои истории, распадаются, и власть иная меняет предшествующую, и долгое время царит здесь Рыбный царь.

Царит он – как всякий царь, почитая лишь то, что любит – всё сводя к рыбе, к уловам. Всех заставляя тягать в речушке и прудках разнообразную снедь, сдавать ему данью.

Даже сверкание серебряной чешуи приятно ему, такому царю, а уж пиршество!

И терем его был высок – расписной, переливался крышами, где цветные деревянные чешуйки закручены были рыбьими хвостами; и несли, и везли к терему рыбу – много, разнообразно, до бесконечности.

Впрочем, бесконечность не складывается у любой власти, как бы ей того ни хотелось.

Рыбного царя сменит Мясной – поведёт бригаду свою, улюлюкая, на роскошный терем, и бригада, упитанная мясом, сокрушит предшественника.

Крики понесутся:

– Что рыба?! Рази ж еда! Вот мясо – да!

И рыбы хвосты на крышах упразднят, а заменят их чем-то неопределённым. И хронику возьмётся писать рифмоплёт и виршеслагатель, не зная, как выслужиться, чем заработать полтинку, тоже стремясь к мясу, к изобилию его...

Прудки и речки теперь нужны только для выращивания скота, а травы, лугов в окрестностях довольно; и поэтовы хроники не нужны, как не нужна никому мыслительная обуза, ибо есть – наше призвание, есть и торговать.

Купцов принято выводить из яиц, а яйца сии добывать из почв: есть такие золотящиеся слои, и кто нашёл яйцо – будет тому свой купец.

Правда, долго надо возиться, чтобы яйцо возросло, напиталось силой: поливают его разными водами и составами, ждут кропотливо, и вот – лопается скорлупа, отлетает, как ненужность, и выскакивает он – маленький, розовощёкий, румяный...

Всех купцов свозили к Мясному царю, но каждый привезший получал долю в Мясном управстве.

– Самоуправстве! – кричали не способные добыть яйцо и вырастить купца.

Но их затыкали быстро – молодцы, упитанные мясом и кровью, верная надежда Мясного царя.

А купцы росли.

Яйца, что находили уже они, были другого свойства – из какого подвода вылупится, из какого – товаров упаковки...

Стали купцы потихоньку встречаться в укромных местах, в тёмных, жизнью ободённых закутах; встречаться стали – шушукаться: мол, зачем нам царь? Сами управимся.

А поскольку питались хорошо, да в телах все были – пошли, да и разорили терем, да и повыгнали бригаду Мясного.

И стала власть купецкая – торговая, тороватая, с прищуром.

– Кто не торгует – виноват! – объявлено было.

И побежал простачок – куда глаза глядят, и поэт припустился было, да купцы границы поставили незримые: прочнее прочного, чтобы ни одна дребедень не просочилась, ущерб торговлишке нанесся.

Меном увлеклись купцы, коли уж удалось набрать столько мелочи:

– А вот кому простачок – зуб-с-присвистом?

– А кому поэт – что-хощь-зарифмовщик?

– Дурачка – нос-с-нашлёпкой не желаете?

Ибо чем они все отличаются – кто не торгует, да у кого деньги? с гулькин нос?

У одного глаз косит, у другого – бородавка на щеке – вот и вся разница.

Мен у купцов богатый. Новой власти не предвидится. Деньга течёт и каплет.

Стали ту деньгу в землю сеять – вдруг да взрастёт? Сеяли, поливали, минеральные удобрения добывали, руки потирали.

...а шёл к ним в город уже – шёл, аж пыль по дороге клубилась – Начпрям.

Так и именовался, ибо утверждал: – Главное, чтобы прямо.

Иначе, полагал он, яма.

И сам был рослый, прямой, с прямыми такими, точно по линейке выкроенными, чертами лица.

Шёл, пыль клубилась, вилась за ним – в пыли той купцы, так и не дождавшиеся денежных всходов, и задохнулись: а кто не сумел, того столбом завихрённым унесло.

– Зачем нам купцы-то? – глаголил Начпрям. – И без них житьё получится. Главное – чтобы прямо.

И стали все всё ровнять.

А что? Не на далёком острове живём – у себя: ровное, значит, правильное.

Вылезал хроникёр, что-то там кропавший в своем домушке, ворчал – мол, ровной история не бывает! Но жители, устав от купецких кривоватых загибов, быстро с ним разобрались: и в домушку затолкали вновь, и хроники его изорвали, раз не разровнять, и пригрозили – ровненькими такими голосами: «Будешь мешать, и тебя выровняем».

Были придуманы даже уравнивательные машины: чтобы всех! ВСЕХ! вытянуть: до Начпряма не получится, конечно, но хоть так, немножко.

Прямомашины стали двигаться по выровненным улицам, и прямоденьги шелестеть приятно, всех радуя...

Всё налаживалось, в общем, только вдруг стал Начпрям кривиться. Стал – и всё тут, сгибаться стал в сторону всё больше и больше, и вышел – Начкрив.

Тотчас объявлено было, что суть всего в Кривизне, и те, кто раньше прямили охотно, стали кривить: улицы вышли с загогулинами. Хроникёр, стервец, оказался прав: прямого история не знает... Да уж изорвали его хроники-то, а больше он не писал: боялся.

Кривили жители, кривили, да Начкрив взял и загнул. И ловко так – через перильца перева-

лился, будто телом перетёк, лужицей по земле расплылся да и испарился.

Стали жители, руки расставив, рты раскрыв, кто же управляться-то будет?

Али позвать кого?

– Да не, – выступил хроникёр. Надо ж ему было заместо хроники чем себя занять: – Сами найдём, среди себя.

– Кого ж искать-то? Всяких видали – теперь на кого поглядим?

– А вот хоть меня возьмите, – хроникёр сверкнул глазом.

– А что ты нам предложишь?

– Хроники писать! Каждый сидит себе дома и пишет – об чём заблагорассудится.

В затылках чесать не стали – и без того чесанные. Сели – писать.

Каждый у окошка пёрышком скрипит, про шариковые ручки не слышали, скрипит себе – жизнь описывает. А она – не подарок в конверте к Курицыну дню – такие при Мясном царе праздновали.

Диво потом появилось: помощники хроникёровы, из самых писучих, притащили откуда-то неизвестно пишущие машинки. Стали раздавать. Каждый брал, и хроники теперь на машинках отстукивали: быстрее шло.

Дома запустили, хозяйство побоку: сидят, стучат.

Дети от голода пусть хоть рёвом надорвутся – некогда: пишем.

Все в писанине погрязли, а хроникёр пуще всех: прямо – как при Начпряме – лентами бумажными всего завернуло, захлестнуло и удушило, не разорвать было.

Опомнились жители, стали тут уж затылки чесать: как, мол, так вышло, что за писаниной этой и жизни невзвидели?

И давай думать – что теперь...

А уж топал Новак, хлюпал носом, бормотал:

– Всё обновим.

Что ж, встретили и Новака.

Залез он на возвышение деревянное, вытащенное им же из пустующего терема, и стал правой махать:

– Всё обновим! – кричал. – Всё! Всё!

И стали обновлять помаленьку – где старая помойка, там новую навалят, где старый домишко – снесут, новую развалюху вкривь-вкось нагородят.

– Главное – лозунг был – процесс обновления. А какой уж там результат – хоть чёрт не брат.

С логикой у жителей худо, зато страсть к обновлению разгорелась! Только держи.

А Новак свешивается с балкона терема, кричит:

– Обновляем-с! Миром, дружно! Все в Обновляем-с. Обновляем-с – так городок решили звать.

И обновляют – новые помойки растут, развалю-

хи поднимаются, старый пруд закопают, новый выкопают, да воду как пустить, не знают – и растут ямины: обновляем-с...

Трудились, трудились, а потом подумали – надо бы и Новака обновить, а то что ж... Всё обновлённое, а этот уже старый какой-то: всё с балкона свешивается.

Вытащили его из терема – и давай обновлять.

Он верещит, отбивается – а им-то всё равно, сам же говорил – главное, процесс. Тут от него кусочек отрежут, там пришьют. Стала из него начинка вываливаться, подбирают, на ломти стругают, новую суют. Не выдержал Новак да и весь развалился.

Стоят обновлялы над ним, думают – что ж теперь?

Кусочки валяются пёстрые – куда девать-то? На какую из помоек новых оттащить?

Оттащили.

– Что ж мы теперь – не Обновляем-с? – загорюнились.

– Стало быть, нет! – хмыкнул некто.

– Кто ж сам-то? – интересуются.

– Из простецов буду, – говорит.

– Вот и будь нашим водителем! Простецов ещё не было.

И стала власть простоватая, жизнь простоватая, всё – проще некуда.

Утром проснулся, чаю попил да до обеда дрыхни, а жизнь сама идёт, и жизнь эта – простецовая, здоровская.

То за водкою, отоспавшись, соберутся и давай галдеть:

– В простецах-то лучше, чем в Обновляем-се – делать ничего не надо...

И пьют дальше, и спят дальше, а главный Простец, что в терем перебрался, знай себе позёвывает да в затылке почёсывает.

Однако оказалось, что совсем ничего не делать не получается: помойки смердят, в ямины дети падают, да и жрать нечего становится.

Вспомнили и Мясного царя, и Рыбного, и – к Простецу в терем:

– Давай придумывай чего не то!

А он:

– Чего ж я придумаю? Простец и есть... Рази вам простецовое житьё надоело?

Суд да дело, ухват да корыто, поглядели сердито да пошли помойки убирать, ямы засыпать.

А Простец знай себе водку дуёт да в ус не... дуёт.

Помойки убрали, ямы засыпали, стали даже чего-то делать, о Простеце вспомнили, да расправляться не стали – просто на руках из терема вытащили да – пинком, катись куда знаешь.

Дела-то накапливались, накатывались, стали помаленечку переделывать, да тут странный какой-то

## 44 Александр Балтин

явился – в платьишке, не в платьишке, не поймёшь:  
– Мол, как живёте? Не так надо – без Высшего Существа – никуда.

Замерли, глядят на странного, пальцами в ладошках скребут.

– А какое оно – Высшее? – интересуются.

А в платьишке им отвечает:

– Невыразимое. Нездешнее. Будет в тереме жить, а вы ему служить обязаны.

– Как же – а ты, что ль, видал такое?

– Видал. Я – тута, это на земле представляю. А вы работайте давайте, надрывайтесь да меня питайте. И будет вам потом счастье.

– Когда потом-то? – вопрошают.

– А этого, – речёт важно, – никто не знает. Когда Существом заблаговолится.

И – пошёл в терем.

Стали так жить: что наработают, тащат к представителю Высшего Существа.

Тащат, расспрашивают, притаив:

– Ну, как оно? Ворочается?

– Сдурели? Нешто дел у него других нет – ворочаться! За всем бдит, всё видит, всех наблюдает, вам счастье потомшнее готовит. А вы – знай себе работайте да меня питайте.

Работают. Питают.

Стал представитель Высшего Существа пузат, мордат, а ленивым всегда и был.

А жители тощие-претощие, всё работают, всё питают его. Да устали больно, роптать стали.

– Что это за Высшее – когда такого прислал? Не пойдёт так, не хотим больше.

И – в терем.

Лежит представитель на диване, почёсывается.

– Вы, – вскочил, верещит, ногами топочет, – как посмели! Да он... Да оно...

– Ты разберись сперва, кто – Он, Оно... А пока пошёл-ка вон, цел покуда.

Хотел было представитель кидать в них чем придётся, да они шустрой оказались, даром что тощие – вытащили его, навалившись гуртом, и – никаких потом.

До границ городка несли – там пинками, ка- тись, мол, и пошли себе, руки отряхивая.

Через какое-то время собрались, сели, задумались.

Стали обсуждать, что у них было, кто ими правил.

– А Кувалд-Задирина помните?

– А то, – галдят. – Всё про кувалды тряндел: у кого есть, тот и задира. А кто задира – того и победа. А на что победа, коли что делать с ней не знаешь?

Был у них такой, был, меж Рыбным и Мясным царя- ми, всё задираться призывал: главное – победа.

– Недолго мы его терпели. Н-да.

– Точно – зачем такой? Одной из кувалд его же и приголубили. Нехай победу празднует.

– Гы-гы...

– Хм-гмы...

Всех перебрали – вплоть до последнего.

– Высшему, мол, служи. А служили-то пузу его ненасытному!

– Точно!

– Так как же нам дальше жить, а, жители?

Пригорюнились.

Думали, в затылках чесали, да порешили – жить, как все.

Экспедиции наладили – к другим, ездили-путь- шествовали, узнавали, судили-рядили.

Каквсешное житьё оказалось не трудным – ра- ботай чего-нибудь, домик строй, деток расти. Ну, огоролик там ещё, садик – поглядеть, коли от трудов утомишься.

...и с тех пор городок влился в плавный, хотя порой и с поворотами крутыми, исторический по- ток, стал таким же, как все, хоть маленьким, неп- риметным: из ниоткуда – из разливов лугов и ле- сополос – материализуется, точно мираж, вдруг оказавшийся реальностью – городок: невысокого облика, должно быть, скромного нрава, без осо- бых претензий на историческую хронику, да и ис- тория, казалось бы, должна обойти его...

Коль и заедет кто – про историю их не узнает, а в хрониках (их уж потом написали) всё как у всех.

## ВАШЕ ОБЕЛЪЯНСТВО

В одинокой глубине своей ночи бессчётный раз задавал себе вопрос: имел ли право на такой эксперимент? На чрезмерное вторжение в тайны мозга – ибо отвечая многочисленным журналистам и заученно улыбаясь, поскольку, кроме хирургии, был вполне светским человеком, даже попадавшим иногда в соответствующую хронику, он заявлял, что наука и этика несовместимы, что эксперимент по пересадке человеческого гипофиза обезьяне име- ет тонкое, чисто научное значение; но в недрах но- чи – а бессонница была привычна удачному про- фессору – мучился, не зная: стоило ли...

В институте утром ему сразу же докладывали о поведении обезьяны, собственно – не совсем обезьяны уже, о медленной утрате звериного об- лика, о режиме питания.

Он шёл в специально оборудованную лабора- торию и там, глядя на своего, как шутил, гомунку- луса, поражался изменениям в сером, точно рас- ползающемся, тяжёлом лице: не обезьяньем, не человеческим.



Дальше следовали анализы, изучения кожного покрова и хвоста – ох, этот хвост! сокращался он постоянно, будто втягиваясь в тело...

– Должно быть, совсем исчезнет, – замечал ассистент профессора.

– Должно быть, – эхом отзывался тот, делая записи.

Он предпочитал тетради, владея, естественно, компьютером, но бумажные листы и шариковая ручка были ему домашнее, милее, теплее.

Тяжёлые и как будто мёртвые глаза питомца глядели на всех – на мир, преобразившийся для изменённого мозга, на творцов, изувечивших шимпанзе...

– Он пропал, профессор! Пропал! – так встретили его в институте в один из осенних дней.

Профессор замер, толком не сняв пальто, застыв рукою в рукаве.

– Утром охранник делал обход, и... окно разбито, провода разорваны, всюду клочья шерсти... И ещё – исчез ваш спортивный костюм (иногда, ночуя в институте, если много работы было, профессор переодевался в заношенный, удобный).

Суэта завертелась огромной юлою, звонили в полицию, давно знавшую об эксперименте, и сыщики, прибыв, долго возились в кабинете, брали для исследования клочки шерсти и проч.

– Как вы объясните это, профессор?

– Извините, теряюсь в догадках...

Пронюхавшие журналисты осаждали институт:

– Профессор, что произошло с вашим гомункулусом?

– Куда он исчез?

– Каковы будут последствия его исчезновения?

– Удалось ли что-то сделать полиции?

Профессор отшучивался устало, ему не хотелось говорить, не хотелось думать.

Прошло какое-то время.

Безуспешные действия полиции ни к чему не привели, профессор стал заниматься новой работой, и про обезьяну, подвергнутую сложнейшей операции, стали постепенно забывать.

\* \* \*

Смутное время волнами накрывало страну; богатые богатели – жирные слоны банков возникали там и здесь; остальные – то есть большинство – точно жили для того, чтобы быть пищей и услугой богатым; процветал шоу-бизнес: как-то надо было отвлекать массы от хлеба насущного и пота, связанного с добыванием онога хлеба; и дешёвые содержательно, но пышные и дорогие внешне, шоу сверкали повсюду, пере-

ливаясь дрянными огнями грошового обогащения тщеславных шутов...

Немудрено, что в таких условиях возникла партия с угрожающим названием: Разорвать!

Плакаты её – ярко-красные с белыми, горящими, зовущими к мести буквами развешены были повсюду, полиция уставала срывать их – а потом, как-то неожиданно, оказалось, что множество полицейских состоит в этой партии или симпатизирует ей; листовки появлялись на гаражах, на заборах, на дверях подъездов.

Программа была проста, бесхитростна и жестока: Разорвать! Тех, кто мешает жить простому люду, – рвать! Банки громить! Интеллектуалов-болтунов, доведших страну до адского состояния, – вниз, в земляные работы! Безголосых певунов – на каторгу!

Однообразно-примитивное содержание листовок и прокламаций будило и будоражило толпы, и совершенно естественно, лидер партии – некто Обельян, чьё прошлое пестрело бело-мутными пятнами – пользовался необыкновенной популярностью.

В кафе за пивом:

– Слышали новую речь Обельяна?

– О, он прав во всём!

– Разорвать-ать-ать...

– Но не всех же!

– Жирнопузых точно.

– Пиво, может, получше появится. Официант, кружечку светлого ещё.

Так говорили всюду, поддерживали, ждали изменений.

Официальные структуры, будучи не в силах нейтрализовать рьяного лидера, попробовали приручить его: ему предлагались посты, он гневно отвергал предложения; ему сулили барыши, он посмеивался.

Он был невысок, с длинными руками и корявыми, но хватистыми пальцами; с тяжёлым, плоским лицом, морщинистым лбом, несколько вывороченными ноздрями и глазами, цвет которых напоминал осенние лужи.

У него оказалась масса подручных – огромных, тяжелоруких, каменнолицых, готовых ради лидера на всё.

На площадях ради выступлений Обельяна громоздили помосты, их декорировали красной тканью и украшали такого же цвета флагами, и полиция помогала охотно.

Толпы валили слушать.

Он появлялся – он вылезал из дешёвого автомобиля, и толпа начинала аплодировать, впадая в раж.

Он забирался на помост, и голос его – мощный и хриплый – не нуждался в микрофоне, заполняя все закоулки сознаний.

– Разорвать! Всех жирнопузых, мешающих жить

вам – простецам, работникам, бедным отцам – разорвать! Кто не пожелает делиться – к ответу! Вас кормят дешёвыми шоу – вон! Сколько можно слушать эту дребедень! Эта пёстрая рябь превращает вас в дебилов! Рвать! Рвать! Рвать!

И толпа бесновалась, готовая рвать уже сейчас.

М., считавшегося звездой, убили в парке собственного особняка, развалив ограду и нейтрализовав охрану.

Банкиры бежали – многие, ибо иных так же, как М., либо убили, либо покалечили.

Кровь лилась – явно и тайно, и полиция усердствовала, помогая проливать её.

Ноздри людей раздувались, кулаки сжимались, они жаждали действия – низового, кровавого.

На выборах в парламент Обельян победил, партия его оказалась главенствующей.

Другие депутаты, шурша бумагами, готовили ограждающие законы, путаясь в бессчётных параграфах и бродя в лабиринтах юридической казуистики, но на первом же заседании люди Обельяна – молчаливо-огромные, деловитые, действующие совместно с людьми в полицейской форме – парламент арестовали.

Вечером Обельян выступал по телевидению.

Он рычал и ревел, он пересыпал свою речь бесконечными: Ры-ы-ы, Гы-ы-ы, Ы-ы-ы, и не было в этой речи ничего, что не слышали бы ранее готовые к ярой крови люди.

Шоу запрещены!

Жёлтая пресса отменена!

Остаются только три правительственные газеты!

Нет банкам – будет один государственный банк.

Предыдущее правительство уже арестовано!

Полиция и моя личная гвардия – вот две силы, на которые мы обопрёмся, восстанавливая построенное некогда, замечательное, разрушенное нечестивцами!

Будем строить!

Ры-ы-ы!

Гы-ы-ы!

Ы-ы-ы!!!

Люди, глядя в телеэкраны на кухнях, в скромных гостиных, в барах, ещё не закрытых (да и вряд ли закроют, ибо Обельяна в них только хвалят), аплодировали, потирали руки, проговаривая – тихо или вслух:

– Наконец-то.

В одном из старинных дворцов, в тронном зале, серой мантией окутав своё неказистое тело в сером же мешковатом костюме, на древнем золочёном троне забытых владык восседал он, поигрывая символами имперской власти.

На голове его красовалась корона – крупные жемчуга украшали её.

– Вы нашли его? Почему не притащили? – спрашивал он одного из своих громил.

– Уже везут, Обельян.

– Ха-а... Гы-ы... Я теперь – Ваше Обельянство!

– Так точно, Ваше Обельянство. Уже везут.

...с мешком на голове тащили, руки сзади были замкнуты наручниками, били в живот, но не сильно, давали подзатыльники, чтобы не дёргался; влекли по коридорам, толкали в спину и, наконец, сорвали мешок и кинули к подножью трона.

Хирург посмотрел на...

– Узнаёшь, гад? – точно выплюнул Обельян.

– Ты... моя подопытная...

– Заткнись, тварь. Подопытная обезьяна, вишь, я ему. А ну-ка...

Профессора повалили на пол, пинали ногами.

Окровавленный, едва дыша, оставленный на время, он глядел на обезьяну на троне, и ужас тек из его глаз.

– Вот теперь, гадюка, придётся править вами. Так бы скакал себе по ветвям, бананы кушал. Гы-ы-ы...

Ражие молодцы глядели на него с восторгом.

– Вы... – залепетал врач.

– Ваше Обельянство! – пнул его сапогом здоровый полицейский.

Врач – точно в предсмертном накате вернувшихся сил – вскочил и заорал:

– Какое Обельянство! Это же обезьяна, прооперированная мной! Вы что, не видите – кому служите!

– Гы-ы-ы...

– Ры-ы-ы...

– Ы-ы-ы...

Неслось отовсюду, ибо полицейских и охранников было много, не сосчитать.

Хирург, ополоумевши, глядел в лицо... в морду Обельянства: он видел тяжёлую, с грубым рельефом черт плоскость, мутные глаза, прыскавшие злобой, отвратительный, серый, морщинистый лоб. Это было последнее, что он видел, ибо, крикнув: – Банан ему! – был свален сильными ударами и тут же, у трона, забит насмерть.

– Псам его! – рычал Обельян.

– Слушаем, Ваше Обельянство! – отвечали преданные человекообразные.

\* \* \*

И наступила эра Обельянства – эра тупой простоты, среднего серого цвета, всеобщего восторга, тотальной милитаризации, вторжения на соседние земли, скучной пропаганды; эра плоской усреднённости, отсутствия чего бы то ни было яркого.

Будет ли она хуже эры неравенства?

Как знать...

Но, как ни прискорбно, похоже, других вариантов, кроме этих двух, не существует на земле.

### ОТЕЦ И МАМА

**М**ама была калужанкой, приехала в Москву в середине пятидесятых – поступать в институт.

Она жила у старой певицы, дальней своей родственницы, некогда блиставшей на сцене Большого: лучшая Аида тридцатых годов, и не было меломана, не знавшего её.

Но – потеряла певческий голос, самое страшное, что может случиться с певицей; и всё же ходила к ней весёлая стайка молодёжи, ибо многое могла объяснить, многому научить.

Мама поступила в Пищевой институт, и певица сделала ей прописку.

Отец – коренной москвич, живший в крепком, хотя всего четырёхэтажном, доме в Хохловском переулке – был одним из тех, кто ходил к певице.

О! эти вечера у неё!

Никакого, разумеется, алкоголя, только крепко заваренный чай и сдобные булочки, иногда сладости.

Все молоды, талантливы, все поют, у отца – профессиональный баритон, мог бы делать оперную карьеру, да посчитал занятие это несерьёзным для мужчины и стал физиком.

Но – страсть к пению оставалась, от Дома учителя он ездил на гастроли в летние месяцы и хорошо знал обширную мощь Советского Союза.

У певицы и познакомились мама и отец.

Я помню эту квартиру, ибо прожил в ней десять первых лет жизни, а певицу не мог знать: она умерла в году, в котором я родился, – хотя скорее так: я родился в году, в котором она умерла – и мама назвала меня в честь неё, ибо имя Александр, как вам известно, двустороннее.

Квартира – в огромном старинном доме, коммуналка с высоченными потолками; и никогда не было склок с соседями, но мир царил, вежливость, помощь.

Ключки первых моих воспоминаний связаны с играми: вот проношусь, как под аркой, между ног отца, он смеётся, ловит меня, я уворачиваюсь, прячусь под столом, опять выскакиваю. Мама вносит обед с общей кухни... Рассаживаемся за массивным столом, и скатерть пестра, и мне снова хочется нырнуть, спрятаться в полутьме, отмеченной краями скатерти.

Мы много гуляли с отцом – до ВДНХ было недолго ехать, а станция Новослободская поражала взлётом пёстрых, роскошных витражей; мы гуляли по ВДНХ

каждые выходные, и всегда только с отцом; мы ходили в Екатерининский парк, называемый тогда иначе, а как? не вспомню уже... Когда я стал постарше, мы путешествовали по Москве, растворялись в её бесчисленных переулках, и отец рассказывал мне об истории той или иной улицы, того или иного дома...

А мама ждала нас с обедом.

Она чудесно готовила – и готовит сейчас, несмотря на возраст, и субботние, и воскресные семейные трапезы были надёжно окрашены цветами счастья...

Во что мы играем с мамой? Это очень раннее воспоминание, и солдатик в моей руке символизирует нечто, чего не поймать уже, не пощупать.

Мне дарили много игрушек: солдатки, машинки, паровозики; они выстраивались рядами, создавая причудливый и многообразный мир детства.

Лет с шести – моих, разумеется – мы ездили на море: каждое лето, в Анапу, к одним и тем же частникам, у которых снимали комнату.

Ездили и ещё, но это в другом возрасте, с отцом – в Эстонию, и таллинские мистические переулки заворожали меня на всю жизнь, как и дома, и парящие над городом соборы, и цеховые символы, и Старый Томас; и с отцом же – в Ленинград, а с мамой – в Болгарию, где было много солнца и такое обилие впечатлений, что их не унесёшь ни в каком чемодане.

Мы ходили по букинистическим с папой, собирали монеты и марки; это уже после переезда, когда старый дом остался позади и мы перебрались в отдельную квартиру – как раз в районе ВДНХ...

Припоминается: вторая комната, родительские кровати, моя у одной стены, у другой – платяной шкаф и с ним рядом – старинный, книжный. И шкаф этот, и буфет – все в завитках резьбы – перебрались с нами на новую квартиру.

...настройщик приходил – лечить пианино: колоритный, эффектный старик, и вот – говорят они с отцом о музыке: конкретика стёрлась, но помнится их высокий азарт, великолепная страсть, возвышенность речи.

... гомеопата приглашали ко мне, ибо были проблемы с горлом, и я испугался в первый раз, убежал, прятался в ванной, но – именно он посоветовал поездки к морю и подобрал нужные препараты: сладкие крохотные шарики прятались в маленьких коробочках, как сокровища, и принимать их, медленно рассасывая, было приятно.

Мама и отец.

Определившие жизнь, подарившие её.

Отец умер рано, очень рано для разносторонне одарённого, блестящего мужчины.

Он умер в 52 года, и я, ныне почти достигший оно-го рубежа, говорю с ним всю жизнь, рассказывая о

новостях, о событиях своей, не особо удавшейся, но всё же имеющей какой-то смысл, отмеченной определёнными свершениями – жизни.

Мы ездили в колумбарий с мамой к отцу, в старый крематорий на Шаболовке, входили в просторный, прохладный коридор, со стен которого глядели бесчисленные фото.

Лестница была тяжела, её надо приставить к стене и подниматься, минуя лица, чтобы положить крохотный букетик на каменную полочку у отцовской плиты.

– Вот, отец, – говорила мама. – Сын – член Союза писателей и...

– Да не надо, мам, – обрывал я. – Не надо.

Я рано увлёкся литературой, и писать было столь же естественно, как ходить, и книжная реальность надолго заслонила реальность обыкновенную.

Рано стал писать, рано.

Слышал однажды, как отец говорил маме:

– Сын понимает то, что мне уже не понять. Его разговоры про стилистику! Он чувствует книги сердцем, иначе не могу истолковать.

И я нечто объяснял отцу, горячась, говорил, как трактую то или иное место из очередной книги, важно комментировал собственный комментарий.

Однажды, много лет спустя после его смерти, его коллега и друг, – ещё в Союзе, помимо физики занимавшийся парапсихологией, – сказал мне:

– Я чувствую, отец доволен тобой.

Я хмыкнул – кто ж поверит парапсихологу?

И всё же – а вдруг?

– Мам, а вдруг и правда отец доволен мною?

– Конечно, сынок. В это стоит верить.

Мама много лет, но она бодря и деятельна, и еда, которую она готовит, по-прежнему великолепа.

...мы идём по заснеженной Москве: мама, папа и маленький мальчик...

Мощное ядро солнца испускает холодное золото лучей, и лепная небесная синь сияет бездонно.

Город великолепно опушён, зачехлён чудесно – сколько снежной сметаны пролито! сколько накрошено рассыпчатого творога!

Розоватые звоны точно слышны в крепком, прокалённом морозцем воздухе, и я начинаю скатывать снежки, кидать их в папу, он смеётся, тоже подхватывает горсти снега, лепит шарики, кидает в меня.

Мама улыбается.

\* \* \*

**И**верится, что никогда не кончится всё это – светлое, хорошее, столь необходимое в жизни.

Верится, что смерти нет.

## ЖЁЛУДЬ ПАМЯТИ

**П**родолговатый, туго оформленный жёлудь в складках пластикового пакета, где лежали машинка и шарик, показалось, завяз – так показалось отцу, одновременно сажавшему малыша на детский велосипед и старавшемуся удержать пакет, по складкам которого, как по ступенькам, жёлудь, точно колобок, убежавший от бабушки с дедушкой, спустился к машинке и лёг между нею и шариком.

До этого малыш скатывал машинку с гладких покатых поверхностей, беловато желтевших вдоль лестниц пустого огромного павильона на ВДНХ; скатывал, сбегал за нею, победно задирая вверх ручонку и снова взбирался, чтобы снова спустить машинку.

Гуляли более трёх часов, и игра возле лестниц была последним этапом прогулки, малыш устал, на личико его легла тень сна, и отец понял – пора домой.

Он усадил малыша, пристроил пакет на ручку велосипеда и покатил его – выехали с территории выставки, миновали гигантских, вавилонски-роскошных «Рабочего и колхозницу» и застряли на светофоре, чей красный свет длился долго-долго – из-за огромности представленных тут пространств, насыщенных пёстрым движением густой на него метрополии.

Малыш дремал, сложив ручонки на руле, положив на них кудлатую головку; зелёный свет брызнул наконец, и отец покатил велосипед – вниз по улице, под взглядом седоватого, но всё же синего, ещё будто летнего, несмотря на сентябрь, неба, и потом – дворами, спускавшимися вниз, мимо детских площадок, проржавевших тополей и разной обыденной разности – к их дому.

Внёс малыша осторожно по лестнице, вверх повлёк лифт, в зеркале которого привычно своё отражение...

– Спит? – вполголоса спросила мама.

– Спит, – ответил сын, словно сам внутренне преображаясь в малыша.

Жена в офисе, на работе...

– Давай переложим остороженько. Жалко, до обеда уснул.

И – вынимали, стараясь не беспокоить, малыша, отец нёс его на кроватку, где и раздели: осторожно, медленно.

Малыш перевалился на бок, тихо сопя, глубже уходя в сон.

– Иди обедать, сынок, – сказала мама.

– Сейчас, мама. Переоденусь только.

Они сидят на кухне, едят.

Борщ густ, как мечты о счастье, и сметана расходится в нём плавными полукружьями.

Гуляш с обильной подливкой, созидающей ост-

ровки и архипелаги в картофельном пюре, и крепкие малосольные огурцы с пупырчатыми спинками и боками.

– Мам, а где у нас на старой квартире книжный шкаф стоял, не могу вспомнить. Буфет в первой комнате, а шкаф?

– Шкаф во второй, сынок.

– А-а... Это у стенки, да? Платяной, лакированный – и книжный?

– Ну да.

Старая, по наследству доставшаяся мебель, вернее – три предмета: буфет, книжный шкаф, огромное зеркало. Массивные, роскошные изделия, густо покрытые резьбой, где завитушки виноградных листьев переплетаются с тонкими, непонятными элементами декора, а символическое нечто, венчающее буфет, напоминает голову совы. Стёклами глядит книжный шкаф как из-под очков, призывая не забывать о его замечательной начинке.

– А книжные полки помнишь? Гена делал...

– Да, это в первой комнате. – Сын пьёт чай, заедая его золотящимся мёдом.

Старая коммуналка, где жили втроём: отец, мама и он – теперь почти пятидесятилетний...

Поздний отец, ребёнок в душе.

Будто в янтаре густого воспоминания всплывает: огромность пространства той коммуналки с трёхметровыми потолками, две комнаты, разнообразие мебели. Письменный стол, чья столешница покрыта замечательными фантастическими разводами возраста у окна первой комнаты, а всего окон было четыре, первый этаж – и выходили они во двор, куда выбегал играть, потом выводил велосипед, потом

грузили различные предметы обихода на грузовик, чтобы не вернуться сюда никогда.

Ребёнок сидит за столом и глядит на пышный, ёлочный снегопад – внутри какого сложные узоры и орнаменты вспыхивают то изумрудно, то рубиново, и скоро Новый год – и будут везти ёлку на санках, и огнями брызжащий город будет струить пестроту на её тёмное тело.

– А во второй комнате, ма, что стояло между окон?

– Там трельяж был. Мы его не взяли. А потом – аквариум на столике.

Он помнил аквариум: зелёную радость детства, и вспышками, пёстрыми, калейдоскопичными картинки мешались: посещение Птичьего рынка, где покупали телескопов и скалярый, и магазинов, где брали для них корм...

А ещё... Хомячок сбежал, да, он жил потом, после рыбок, и как выбрался из своей клетки, было непонятно – но он нашёлся, милый, палевый хомячок, он вывалился из вентиляционного отверстия во второй комнате...

– Надо ж! – удивлялся отец.

Собаки были уже потом.

Белый тюль занавесок тёк, переливаясь, играя складками, и коралловый муар сумерек медленно просачивался в комнату.

По складкам пластикового пакета медленно падающий жёлудь.

– Пойду посмотрю, ма, как там малыш – спит?

– Сам пока ложись, отдохни.

– Ага. Лягу рядом с ним.

□

### **Александр Львович БАЛТИН**

*родился в Москве в 1967 году.*

*Поэт, прозаик, публицист.*

*Автор 84 книг и свыше 2000 публикаций в изданиях России,*

*Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Италии,*

*Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии,*

*Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США и др.*

*Его стихи звучат на радиостанциях «Центр», «Говорит Москва»*

*в исполнении автора и народного артиста СССР Е. Я. Весника.*

*Переведены на итальянский и польский языки.*

*В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина»,*

*посвящённая творчеству писателя.*

*Член Союза писателей Москвы.*

